

Давид ГАЙ

ЛИНИЯ ТЕНИ



Давид Гай
Линия тени

«Алетейя»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Гай Д. И.

Линия тени / Д. И. Гай — «Алетейя», 2020

ISBN 978-5-00165-105-5

Это роман об одиночестве, питающем творчество, о сбывшихся и иллюзорных надеждах, итогах долгой жизни в серых и ярких тонах. Это роман о видениях прошлого, предстающих в одеянии горести, безмолвным и отчужденным укором. В центре «Линии тени» – судьба русского писателя-иммигранта, обитающего в Нью-Йорке. Написанный от первого лица, роман исповедален, хотя автор сразу предупреждает: он и главный герой – вовсе не одно и то же. Перед читателями разворачивается история пожилого человека, настигнутого онкологическим заболеванием. Действие романа на фоне борьбы за выживание перемежается реминисценциями, воспоминаниями о прожитом-пережитом в России и Америке, философскими размышлениями о странностях бытия. Автор не щадит протагониста (а значит, и себя) – и в этом смысле повествование предельно откровенно и безжалостно. Будучи в неизвестности относительно исхода лечения, готовясь к худшему, герой судит себя судом совести, не находит оправдания некоторым поступкам, заново их переосмысливает. А судьба тем временем готовит неожиданный виток – он попадает к знаменитому на весь мир бразильскому целителю и невольно предчувствует крах его деятельности. И здесь же, в Бразилии, героя ждет поздний взрыв страсти, короткая, как судорожный глоток воздуха, любовь... Книга содержит нецензурную брань

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-105-5

© Гай Д. И., 2020

© Алтейя, 2020

Содержание

Часть первая	7
1	7
2	10
3	14
4	19
5	28
6	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Давид Гай Линия тени

© Д. И. Гай, 2020

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020

* * *



Памяти Марка

*Жизнь – только тень, она – актер на сцене.
Сыграл свой час, побегал, пошумел —
И был таков.*

Шекспир

Жизнь обманывает нас тенями, как в кукольном театре. Мы просим у нее радости. Она нам ее дает, но вместе с горечью и разочарованием.

Оскар Уайльд

*Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?*

Владимир Соловьев, 1892 г.

Я – тень от чьей-то тени...

Марина Цветаева

Лучшие места под солнцем обычно у тех, кто держится в тени.
Народная мудрость

Часть первая

1

Книги как дома: в одних хочется поселиться надолго, в других – на какое-то время, в третьих вовсе не хочется, едва приоткроешь дверь и ударит в ноздри затхлым. Не знаю, не ведаю, каким кому покажется дом для героя этого повествования, но может, и впрямь мимо открытых дверей читатель не пройдет, а заглянув внутрь, постарается задержаться, пока не обживет все углы. Во избежание недоразумения хочу предупредить: автор и протагонист – вовсе не одно и то же, не путайте нас, далеко не всегда протагонисты бывают положительными личностями, весьма часто – существа малоприятные и порой даже отталкивающие, как в некотором смысле обитатель выстроенного автором жилища – пожилой, не самый веселый, хотя и не зануда, женолюб, и в преклонные года не избавившийся от все еще неистраченной, обременяющей страсти, к тому же обладатель странной, не слишком востребованной профессии сочинителя, он не обрел спокойной старости, *ибо не вошел в достойный сговор с одиночеством*, хотя живет один; подверженному хворобам, завидовать ему не приходится, так что если вы ненароком забрели к нему на огонек в расчете на приятное времяпрепровождение и паче чаяния не нашли оного, не огорчайтесь – всегда можно уйти, захлопнув за собой дверь. Но можно и остаться, пренебречь приятным и попытаться примерить жизнь с выкрутасами моего зашкваренного героя на себя, как пальто с чужого плеча – а вдруг подойдет... Сегодня вы полны сил, но тоже когда-нибудь постареете, и тоже будете болеть, и тоже станете перебирать, как четки, события минувших лет, находя в них отраду или сожаление о несбывшемся, успокоение или печаль; учтите, пора эта наступит быстрее, чем вы думаете, и тогда, кто знает, может, и вспомните запыленного обитателя жилища, для которого *свечи в именинном пироге обходятся дороже самого пирога*.

В первой фразе всегда загвоздка, загадка, тайна – романа ли, рассказа ли, повести. Первая фраза, как глоток незнакомого вина – пить дальше или отставить бокал?

Первая фраза должна быть особенной. Выстрелом. Ударом колокола. Снежной лавиной. Молнией и громом. (По Маркесу, она должна быть страшной, как ржавый пистолет, приставленный к затылку слепца. Тайнственной, как стук костей в груди трухлявого скелета. Печальной, как слезы умирающей от обжорства обезьяны. Сладостной, как вопль теряющего девственность павлина.)

«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй...» «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое...» «В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой гениальными и отвратительными фигурами...» «Княжича Вильгельма из дома Гесслеров по несчастной случайности подстрелили на охоте, когда жизни его было всего пять лет. Гусь взлетел, захлопав крыльями, ружье грянуло в чаще, ребенок упал на землю, задержался и закричал».

Думаю над началом своего повествования и тщетно ищу требуемые слова – уж больно незавидной для моего героя выглядит ситуация, в которой он оказывается, какие уж там выстрелы, удары колокола, громы и молнии. Но надо же с чего-то начать... И вот втемяшился именно такой первый абзац, бьющий по самолюбию главного действующего лица, хотя ничего

особенного, кажется, не произошло, однако надо знать его, чтобы до конца оценить степень униженности собственной физической немощью. И так...

...Невидимые магнетические волны помчались от меня к Алисии, она почувствовала излучение и еле заметно улыбнулась, чуть приподняв уголки полных губ. Глаза же ее не улыбались, напротив, источали жалость и сочувствие – так мне, во всяком случае, показалось, и это было непереносимо.

За пять минут до этого, свесив левую руку, я попытался нашарить стоящий внизу у кровати пластиковый сосуд с горлышком, похожий на изгиб утиной шеи; зацепив пальцами ручку, поднял его и, откинув одеяло, приступил к очередной процедуре освобождения от накопившейся жидкости; пенис, похожий на свернувшуюся улитку, занял положенное место в горлышке, и сосуд начал наполняться – под воздействием лекарств мочи накопилось изрядно. Палата – отдельный небольшой бокс с туалетом – отделялась от коридора шторкой, неярко светили лампочки, ночь без усталости проглатывала часы полубессониц-полудрем, чему я был только рад, стояла тишина, слегка нарушаемая легкими, почти бестелесными шагами медперсонала.

Лучше синица в руках, чем «утка» под кроватью, вспомнил давнюю грустную шутку. Синица витала в облаках, а «утка» была рядом. Опутанный подсоединенными к монитору и капельнице проводами, трубочками, присосками, датчиками, сосуд я удерживал левой кистью, фиксируя правой контакт пениса с горлышком. Все видеть и контролировать мешал большой живот. Жидкость подобралась почти к краям, я закончил процедуру и начал завинчивать крышку, одеревеневшие, теряющие гибкость пальцы соскользнули, крышка упала в кровать, я неловко потянулся к ней, сосуд качнулся и внезапно вырвался, часть содержимого вылилась на простыню и пол. Я непроизвольно застонал и выругался... Худшую, постыднейшую демонстрацию слабости и бессилия невозможно было представить. И впрямь, иногда человек так красит место, что место потом приходится долго отмывать.

В эти мгновения я ненавидел себя, свои руки-крюки, вмиг потерявшие доверие: долбаный капитан «судна», неповоротень; случившееся лишь подтверждало непреложную истину – дела мои хреновые, если не могу справиться с утлым сосудом.

По call bell вызвал медсестру.

– I need help! («Мне нужна помощь!»)

Медсестра не отзывалась. Вновь нажал на кнопку пульта и повторил просьбу – результат тот же. Было странно и непривычно, ночью медсестры бодрствуют, не приходится их вызывать по два раза, ибо дорожат местом в престижном манхэттенском госпитале и не ищут неприятностей на свою голову.

Через несколько секунд медсестра отозвалась.

– What's the matter? («В чем дело?»)

– I dropped the bed-pan... («Я уронил „судно“...»)

Мне показалось, она хмыкнула, во всяком случае, послышался не вполне внятный звук.

– I called you twice and useless. Do you want to have a troubles? («Я вызывал вас дважды и бесполезно. Вы хотите иметь неприятности?»)

Я начинал заводиться. Это служило своего рода компенсацией за переживаемый позор: лучше злиться на кого-то, нежели бессмысленно корить себя, тем более что злиться есть повод.

Через минуту медсестра вошла в палату. Я видел ее впервые.

– My name is Alicia. I am a newcomer, this is my first duty. Sorry, that is not immediately responded – I helped another patient. («Меня зовут Алисия. Я новенькая, это мое первое дежурство. Извините, что не откликнулась сразу – я помогла другому пациенту.»)

Произнесла тираду она низким, почти грудным голосом (если бы это был певческий голос, то смело мог быть назван контральто, им обладают натуры порывистые и страстные, давно уже сделал я вывод, опираясь на собственный опыт). Голос вполне соответствовал ее облику. Я это понял, когда Алисия включила свет и я смог увидеть ее лицо. Секунда-другая

понадобилась, чтобы понять: передо мной стояла смуглая красавица-латиноамериканка, жгучие краски будоражили, мой взгляд наткнулся на искрящийся огонь, как при сварке автогенном, смотреть было больно и взгляд непроизвольно прятался в ее спецодежде – хлопковых тонких синих плотно облегающих окатистую фигуру брюках с эластичным поясом со шнурком и рубашке с V-образным вырезом и короткими рукавами. Распушенные волосы лежали на груди и плечах, свиваясь в колечки.

Она отсоединила меня от монитора и капельницы, попросила подняться, я выпростал ноги из одеяла и, стыдливо запахнув халат, встал и сделал три шага от кровати. Словно не мои, ноги плохо слушались, за три дня пребывания в госпитале я ослаб.

Алисия сдернула простыню и пододеяльник и бросила на пол. Развернув принесенный с собой комплект белья, она повернулась ко мне спиной и выгнулась над кроватью, застилая ее чистым. Этим должна заниматься санитарка, но то ли занята, то ли медсестра сознательно решила подменить ее, недвусмысленно подав мне знак – не стоит нервничать из-за ее молчания по call bell.

Передо мной открылось еще одно, может быть, главное достоинство фигуры медсестры. Я мигом забыл о конфузе, об унижительном состоянии, в котором пребывал, вновь чувствовал себя мужчиной, а не старым, ни на что не годным типом с непослушными пальцами; впрочем, наговаривал на себя – до болезни я еще кое-что мог, выглядел моложавым, подтянутым, без следов пахоты на лице в виде глубоких морщин, моих лет мне никто не давал, за исключением девицы с круглыми полными коленками, но об этом позже...; сейчас же и впрямь был достоин жалости, которая колола больнее и унижала еще сильнее, ибо исходила от женщины в самом соку, демонстрировавшей, сама того не желая, несокрушимое торжество плоти.

*Три стремительных шага на обретших вмиг силу и гибкость ногах, нетерпеливые хищные пальцы вцепляются в одежду медсестры, заголяют матовые полушария, он входит в нее неистово и зло, Алисия не пробует разогнуться, оказать сопротивление – лишь исторгает задыхливо-хриплое: *Oh dios, que estas haciendo?*... («О боже, что вы делаете?» – исп.), бешеное соитие продолжается несколько коротких, как судорожные глотки, минут и завершается вспышкой молнии, электрическим разрядом, сладостным воплем павлина...*

Искусительное наваждение исчезло столь же мгновенно, как и возникло, я стоял на дрожащих ногах-жердях и старался отвезти взор от будоражившей воображение округлой, словно вычерченной циркулем, задницы медсестры. Возможно, я непроизвольно выдал какое-то междометие или что-то промычал, Алисия, словно почувствовав мои потаенные переживания, безобманчивой интуицией приняла их на свой счет, и не меняя позы, повернула ко мне голову, убрав со лба колечки смоляных волос; зрачки-маслины отражали уже не жалость, а скорее недоумение и скрытое предположение: оказывается, этот злока-пациент, едва не закативший скандал, похоже, еще в состоянии кое-что испытывать? Что ж, пускай смотрит, от нее не убудет, а старику приятно.

Она передала чистый халат, погасив перед уходом свет и пожелав приятного сна. Расстались мы вполне дружелюбно, гнев мой испарился, на прощание я спросил, замужем ли Алисия, оказалось, у нее двое детишек, муж – водитель автобуса, они из Коста-Рики, выиграли грин-карту в лотерею десять лет назад. В этот госпиталь перешла из другого, бруклинского, поскольку здесь зарплата выше. В свою очередь, из вежливости поинтересовалась, чем я занимаюсь в Америке, и подняла брови: журналист, писатель? Из России? С такими на работе прежде не сталкивалась...

2

Все мои неприятности начались с того момента, когда мне впервые уступили место в метро.

К такому странному умозаключению я пришел, анализируя медленно влекущимися госпитальными часами внезапно обрушившееся на меня, при этом вспоминая фразу князя Андрея: на свете есть два действительных несчастья – угрызение совести и болезнь. Касательно первого мог сказать, что оно нередко посещает и в том или ином виде находит отзвук в моих писаниях; а вот болезнь... болезнь совсем ни к чему, тем более внезапная, никак не ожидаемая и оттого посеявшая смятение и хаос в душе.

Я ехал из Квинса в Бруклин к заказчику очередной книги, которую должен был сочинить от его имени. Это отнюдь не выглядело потной и неблагодарной работой «негра»: выпустив за последние три года пару с лишним дюжин заказных книжек, я укрепился во мнении, что они нисколько не умаляют достоинство литератора, напротив, сплетенные в тугой узел, судьбы поражали жестокими реалиями существования, которые прежде не знал или знал недостаточно; я изучал выпавшее на долю моих соплеменников, перипетии прошлого касались выживания в условиях войн и всегдашней борьбы за существование – в назидание благополучным американским внукам и правнукам, ради и во имя которых, выполняя волю бабушек и дедушек, я и трудился, записывая и редактируя их воспоминания.

И вот, повторю, я ехал в сабвее, как зовется нью-йоркская подземка, из Квинса в Бруклин в утренний час пик, предстоял полуторачасовой путь с двумя пересадками. Сделав первую на Jackson Heights, я втиснулся в заполненный до отказа вагон с пластиковыми сиденьями, вагон обычно начинал пустеть после Манхэттена, а покамест я стоял, держась за поручни, пытаюсь занять мозги чем-то полезным, ну, скажем, размышлял над названием новой книжки воспоминаний моего доброго знакомого, девяностолетнего иммигранта-полковника, встретившего войну 22 июня и закончившего 9 мая. Таких из каждой сотни выжило только трое. Возможные названия варьировались от «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...», «Перебирая годы поименно» и «Честь имею!» Мне больше нравилось третье, осталось убедить в этом автора.

Сабвей роднил меня с четырьмя с половиной миллионами жителей города и окрестностей, ежедневно испытывающих собственное терпение в дальних поездках; как и я, они, по видимому, недоумевают, каким образом метро-старичок с более чем вековой историей еще работает, без усталости мчась в тоннелях и на поверхности. Дети подземелья, сроднившиеся с ним, мы по большей части не завидуем игнорирующей сабвей публике, предпочитающей простаивать в автомобильных «пробках», лишь бы миновать врата ада, коими считает метро; публика эта по-своему презирает нас – париев, кичится тем, что никогда, слышите – никогда! не спускалась в подземелье – не окуналась в станционную духоту, особенно жарким, влажным летом, когда майки и рубашки облегают тело, как липучки, не затыкали нос от соседства с бомжами, катящими свои тележки, доверху набитые скарбом бездомных, не приходили в ужас от мусора на путях между рельсами в виде пластиковых пакетов и пустых жестяных банок из-под кока-колы и пепси, где нет-нет и можно увидеть вездесущих крыс...

Нью-йоркский сабвей – не для слабонервных, однако ж не все так скверно: в вагонах прохладно и даже холодно, вовсю шпарят кондиционеры, летом там форменное спасение, народ вежливый, если вас нечаянно толкнут, непременно извинятся, от пассажиров не пахнет потом, ибо все пользуются дезодорантами (за исключением бомжей). Без сабвея никогда не спящий город, прекрасная погибель, замрет и перестанет быть самим собой – городом-функцией, существующим хотя бы для того, чтобы понуждать многих людей безостановочно вертеться волчками и добиваться успеха там, где другие пасуют и отходят в сторону. Так я писал в одном из романов.

В феврале 96-го стихия бушевала весь месяц, по Манхэттену предпочитали передвигаться на лыжах, невиданные снегопады парализовали город, машины и автобусы превратились в обузу, и люди по городу шли пешком, оскальзывались, вязли в сугробах, неуклюже, как антарктические пингвины, переваливались на ходу. Перегруженное метро задыхалось, ходило с переборами, но было живо, кровь пульсировала в нем, напрягая все жилы, и спасало, принимаемая тугие волны горожан. Порой кошмарное с виду, оно и город неразделимы, одно без другого не может существовать.

Я ненавижу сабвей, где влекутся томительные часы моей жизни, и обожаю его, оно такое, какое есть, ничего подобного нет нигде. В переходах гремит джаз, бэнды собирают толпы поклонников; на станциях можно услышать молодых и пожилых умельцев, отбивающих ладонями ритм на доньшках перевернутых пластиковых ведер; в вагонах пассажиров развлекают певцы, гитаристы и аккордионисты-латиносы, иногда у вагонных дверей скромно устраивается девчушка в джинсах с дырками по моде и со скрипкой или бородач с саксофоном – это уже не новоиспеченные иммигранты, а свои, доморощенные, ньюйоркцы, и кто знает, может, девчушка учится в Джульярде, играет не ради денег, а токмо ради удовольствия, кто знает... По вагонам бродят полусумасшедшие проповедники, испытывающие нужду в общении с массами, агитируют за Христа, Будду и за что-то еще, им одним ведомое; к нашему состраданию зывают сборщики средств для бездомных. Нет, в сабвее никогда не бывает скучно...

В вагон влетает ватага гибких, мускулистых темнокожих парней и под магнитофонную кассету с рэпом начинают выделять такое, что у пассажиров глаза на лоб лезут. Для разминки – подбрасывание бейсболки с ноги на плечо и на голову, ловко, изящно, бейсболка ни разу не падает на пол. Потом начинается главное действие: как заправские акробаты, парни крутят сальто в проходе, взлетают и цепляются ногами за поручни, повисая вниз головой, обвивают тонкую стальную, подпирающую потолок штангу, и используя, как шест, совершают немислимые курбеты, которым позавидуют стриптизерши... Ни разу не видел, чтобы задела ногой или рукой кого-то из пассажиров, движения парней отточены и выверены. Им аплодируют и охотно подают – доллар, два, пять. Мастерство в сабвее ценится не меньше, чем на поверхности, любительство не проходит.

В сабвее лучше узнаешь душу города, пристрастия и привычки: здесь никто ни на кого не смотрит, у большинства в руках айфоны и айпэды, от них тянутся проводки с наушниками, гасящими посторонние звуки, от мала до велика сидят с закрытыми глазами и слушают музыку, в такт покачивая головами, или, уткнувшись в приборы, заняты играми; читающих книги все меньше – век духовной изоляции, торжества приманчивых железок, без которых уже не мыслят существования.

Но что я все об этом... Никто ни на кого не смотрит? Пялить глаза – не принято? А я – смотрю, пялю, мне интересно, я всех вижу, а меня не видит никто. Вот и сейчас, держась за поручни в плотно населенном вагоне, смотрю с высоты своего роста на сидящую в полуметре светловолосую девушку, занятую своим мобильником, точнее, лицезрею ее коленки. Летняя жара диктует форму одежды – на девушке белая майка и такого же колера коротенькая юбка, обнажающая загорелые ноги. Взор мой упирается в коленки и замирает завороченный. Они полные и круглые, чашечки не выпирают, не морщятся складками кожи, натянутой, как на барабане. Острые, выпирающие коленки-камешки никогда мне не нравились, сейчас же люблю их прямой противоположностью и с удовольствием повторяю про себя где-то услышанный песенный мусор: *«подавали на губах сахарные пенки, открывали второпях круглые коленки...»* Я смотрю на них как на произведение искусства, без всякого вожделения и греховных мыслей, вполне, впрочем, простительных для мужчины, перешедшего порог семидесяти и сохранившего определенный интерес к женщинам. И тут же в опровержение сказанного предательски выплывает давно где-то вычитанное и засевшее в подкорке – бич сочинителей, нередко теря-

ющихся в определениях, собственные ли это образы, метафоры, сравнения, самими ли придуманы или чужие, заемные: *она развела колени как бабочка крылья...*

В это мгновение девушка подняла голову и наши взгляды встретились. Вовсе не думаю, что произошел процесс моментальной телепортации, мои мысли передались ей и каким-то образом задели, иначе пришлось бы признать свои особые магнетические способности, кои не существуют. Видимо, девушка уловила нечто такое, что никак не соответствовало моим эмоциям, поднялась и пригласила меня сесть на ее место. От неожиданности я забормотал невнятное, начал отказываться, девушка мило улыбнулась и вновь предложила сесть. Ее голос действовал на меня расслабляюще-парализующе, я чувствовал себя беззащитным кроликом и помимо воли сел.

Мы поменялись позами, теперь она возвышалась надо мной. Ее колени оказались почти на уровне моего лица – девушка была высокого роста. Ко мне вдруг прихлынули безотрадные мысли о неумолимо надвигающейся старости, которую я не ощущаю, но которую отчетливо видят другие. *Я утром седину висков заметил и складок безусловность возле рта...* Я – не заметил, и что с того? Дожил, что красивые девушки уступают место в транспорте... Как на это реагировать: печалиться или принять как должное? Рано или поздно, это должно было случиться. И вот – случилось. В первый раз. Поздравляю...

Девушка была погружена в свой айфон, не смотрела на меня, я ее нисколько не интересовал, она слушала музыку через наушники, и ноги ее в такт мелодии слегка подрагивали, казалось, по коже, как по воде, идет еле заметная рябь. Я смотрел на нее, чуть приподняв голову, любовался ее милым личиком, на котором выделялась крохотная родинка, мушка над верхней губой справа, делавшая ее похожей на Майю Плисецкую, Синди Кроуфорд и Еву Мендес...

Следующая остановка – West 4, где я привычно пересаживаюсь на поезд В, следующий в Бруклин. Я встаю, с сожалением говорю девушке: «До свидания» (она, судя по всему, едет дальше) и подхожу к двери. В стекле отражается моя физиономия. Смотреть на себя неприятно. Да, в старости человек получает то лицо, которого он заслуживает, беззвучно произношу и непроизвольно вздыхаю.

На пятый год моей иммиграции, в пьяном виде, глубокой ночью, я куролесил на West 4, о чем вспоминаю с чувством зависти к себе тогдашнему – бесшабашному и еще вполне здоровому. Я учился понимать и чувствовать город-муравейник: ведь если ты сможешь выжить в Нью-Йорке, ты точно сможешь выжить везде.

Я отмечал юбилей друга, московского профессора-медика, поселившегося в Квинсе и сходящего с ума от тоски. Жил он в неотличимом от других семиэтажном доме из темного красного кирпича, похожем на тюремный корпус. Он попросил стать тамадой, я с удовольствием исполнял свои обязанности, пил коньяк и плохо закусьивал, так как много говорил, и в итоге окосел. Иначе бы не пришла в дурную голову немислимая идея возвращаться в Бруклин на авеню Z, где тогда обитал, будучи редактором без малого четырехсотстраничного еженедельника, не на такси, а на метро, решив показать ночную жизнь сабвея гостившему у меня московскому приятелю, не знавшему ни слова по-английски и пугавшемуся всего и вся. Выехали мы в половине первого ночи и добрались до места в половине пятого утра.

Это была та еще поездочка. На West 4 мы сорок минут ждали пересадки. Я спал на скамейке, приятель тыкал меня в бок, будил, произнося коронную фразу: «Когда будет поезд?» Я этого не знал и снова засыпал.

Вокруг нас бродили, как сомнамбулы, сумасшедшие, бездомные, наркоманы, размалеванные девки – Нью-Йорк конца девяностых не был таким прилизанным и скучным по части запретных развлечений, как сегодня, на 9, 10-й и 11 авеню Манхэттена порхали ночные «бабочки», на Таймс-сквер работали порнокиношки, сиденья в зрительных залах были отделены одно от другого металлическими прутьями, дабы возбужденные зрители, глядя на экран,

тут же не совокуплялись; в общем, было много всего такого, а сабвей ночью являлся своеобразным отражением того, что творилось на поверхности.

Мне надоедали тычки в бок приятеля, страшившегося пропустить поезд, которого не было и в помине, я всхрапывал, как потревоженный в стойле конь, вскакивал, пробегал метров двадцать по перрону, спьяну выкрикивая по-русски фразу-импровизацию собственного сочинения: «*Хуй вам всем в грызло до самого построения коммунизма!*» Слыша единственно знакомое слово, забубенные обитатели ночлежки-перрона в страхе разбегались – я для них выглядел опасным типом, от которого стоило держаться подальше.

На мое счастье, копы отсутствовали, иначе наручников не избежать. Хотя копы могли и не тронуть, я выглядел типичным проповедником, а таковых в Нью-Йорке не арестовывают – каждый имеет право громко излагать свои мысли, даже с использованием ядовитого слова «коммунизм».

Вернувшись домой в тот день, когда мне впервые уступили место в сабвее, за ужином я по обыкновению перебирал в памяти подробности дня, словно перемывал породу, задерживая в мелких ячейках сита существенное, видел налитую соком молодости светловолосую девушку, гладил вожделенным взглядом полные круглые колени, и в этот момент что-то в животе заныло, несильно так, но противно, боль шла справа, где печень, по ощущениям, ныло и жало ниже. Я попил минеральной воды, боль не унималась, стала даже чуть сильнее. Через минут пятнадцать боль, прячась в подвздошной области, начала слабеть, пока вовсе не утихла.

Так прозвенел первый звоночек, о чем я догадался позднее.

3

Сон вспорхнул, как птица с ветки, и растворился в пространстве. Из гостиной доносились мерные металлические удары, отвратительный скрежет и скрип, будто кто-то сознательно и беспардонно вспарывал ночную тишину. Впрочем, сон прервали не странные пугающие звуки некоего вторжения – пребывающий в этой обители привык к ним, его барабанные перепонки обычно не реагировали на проделки отопительной системы многоквартирного нью-йоркского дома, а это были именно проделки, или, с тем же правом можно сказать, гнусные, мерзкие издевки.

В жилищах отсутствовали привычные ребристые радиаторы, кипятик из котлов под давлением расходился по трубам, расплзшимся по внутренностям кирпичных стен, и с тихим змеиным шипением выходил теплым воздухом сквозь узкие пазы решеток под окнами в каждой комнате; если прислушаться, возникала иллюзия плотной ровной стены шумящего снаружи дождя. Так происходило ночью раз в два часа. В спальне и кабинете шипение каждый раз длилось минут пять, не более, зато в гостиной обжигаемые кипятиком трубы, прежде чем отдать тепло, мучились, словно под пыткой, нутряно стонали, корчась в муках и негодуя. У некоторых соседей происходило похожее, жаловались суперинтенданту дома, приходили ремонтники, все без толку – в квартирах с ноября по апрель поселялся подлец и истязатель, громогласный домовый, призрак, дух – *гоуст*, по-здешнему, которому доставляло безумное удовольствие играть на нервах.

Одна из пакостных *шалостей* сложенных из красного кирпича жилых строений семидесятилетней давности, а то и старше, где арендуют квартиры не столь имущие ньюйоркцы, не готовые разориться на покупку кооперативов или кондо, впрочем, и там вполне могут присутствовать те самые гоусты; но, в сущности, жизнь в них вполне приемлема, во всяком случае, горячую воду на лето не отключают, подъезды не разрисовывают, не бьет в ноздри запах кошачьих и человеческих испражнениями, если, конечно, немилостивая судьба не загнала вас в вонючие криминогенные *проджекты* – жилища для совсем бедных соответствующего цвета кожи. Можно считать вполне сносным ваше существование и получать удовольствие, живя по правилам игры никогда не спящего города, вечно спешащего, загоняющего тебя в клетку с беличьим колесом, когда нет иного выхода, как мчаться по кругу, зная, в отличие от белки, что никуда не умчишься и ни от кого не скроешься; города бесконечного, беспечного, неряшливого, игриво-легкомысленного, отчаянного, задумчивого, великодушного, интимного, бурлескного, изумительно красивого – при виде с Промеида на темные силуэты небоскребов Манхэттена на противоположном берегу Ист-Ривер закипает слеза восторга, никак не могу привыкнуть, хотя смотрю на это диво бесчисленное количество раз; в одном своем романе, который меня чуть не угробил – редактируя толстенную, раздувшуюся боками, словно перекормленный боров, газету, еженедельно обрушивающую на читателей четыреста страниц рекламы вперемежку с незатейливыми, выдернутыми из интернета и из московских глянцевого журналов статьками, я, прилепившись к стулу, вечерами и ночами сочинял текст о прошлой московской жизни, вновь отчаянно, мазохистски мучил себя воспоминаниями – и едва не домучил до тяжелого инфаркта, отдав тело на растерзание эскулапам, охладившим мое сердце, чтобы все процессы жизненные замерли и ни на что не реагировали, разрезавшим грудину пилой как цыпленка табака, готового к изжарке (Бродский, правда, другой образ дал: вскрывают грудь, будто капот авто) и поставившим в артерии три маленьких обводных канальчика-шунта, спася и продлив мне жизнь, как получается, на долгие годы; так вот, в первый раз замороженно глазами с Промеида на небоскребы в половине второго ночи, я видел театральную декорацию, бутафорию из фанеры и папье-маше, в них не ощущалось дневного размаха, мощи и величия, они засыпали, по-родственному перешептывались, делились чем-то своим, на бесчисленных этажах кой-где

перемигивались огни, манили, зачаровывали, рождали магию чего-то необъяснимо прекрасного и загадочного; небоскребы выглядели пришельцами из звездных миров, совершившими короткую остановку на приглянувшемся им острове и готовыми в любой момент воспарить и раствориться в галактической мгле... Но было в этой картине и нечто пугающее, зловещее. Намек, предсказание, предзнаменование. Чего? Я не знал. *Мегаполис, в дневное время больше похожий на людской муравейник, на черном бархате ночи обретал поистине апокалиптические черты Армагеддона, города последней битвы.*

Но часто, следуя в поздний час в метро домой, я видел с моста через реку уже других пришельцев – они светились и переливались огнями, завораживали, как Гулливер-гипнотизер, разрушая магию ночи; иногда я спрашивал себя: зачем, по какой причине жжется столько света, пришельцы могут уходить в ночь и в темноте, даже лучше в темноте, бдящий их чуткий сон, да и экономия электричества огромная... – причина, оказывается, существовала и связана была с перелетными птицами: свет служил им ориентиром для облета, иначе в темноте могли разбиться... *Начала и концы там жизнь от взора прячет. Покойник там незрим, как тот, кто только зачат. Иначе среди птиц. Но птицы мало значат.* Ту страну я покинул, и вот уже двадцать с лишком лет обретаюсь там, где птицы что-то значат.

Что самое лучшее в сумасшедшем городе? Возможность из него уехать. Только мало кто уезжает, потому что от жизни в тиши и благодати медленно сходишь с ума. Вы не задумывались, почему в школах, колледжах, кинотеатрах и супермаркетах города не стреляют, уволенные не приходят с полуавтоматическими винтовками под полой мстить ненавистным начальникам, и вообще, нет массовых убийств? Ужас 9/11 не в счет, там совсем иное. Я задумался и пришел к странному ненаучному выводу: в каждодневном нью-йоркском мельтешении, стоянии в «пробках», поиске парковок, во всей круговерти урбанистического безумия нервы тратятся куда больше, чем в тихом захолустье, и злобы и ненависти уже больше ни что не остается.

Я лежал на спине с закрытыми глазами, скрежет стих, шипение плавно угасло, словно пресмыкающиеся уползли в потаенное логово, воцарившаяся тишина побуждала повернуться на бок и сладко засопеть. Со сном, несмотря на возраст, у меня нет проблем, напротив, ночью я, так мне кажется, продолжаю жить насыщенно и эмоционально-изоциренно, ночные фантазмагории (а иными они не могут быть) нередко отчетливо помнятся, могу пересказать их во всех подробностях. Удивительно, но происходит именно так. Сейчас же скрытая тревога мешала погрузиться в привычное состояние. Мозг пребывал в отключке, сумеречное сознание не выдавало четкий и ясный ответ, по поводу чего явственно возникла тревога. Бывает, замлеет, если отлежать ее, кисть, словно нет пальцев, их не чувствуешь – поменяешь позу и со слабым покалыванием, сродни комариным укусам, кровь начнет поступать в сосуды, пальцы начнут оживать, пока не приобретут прежнюю гибкость и подвижность. Сейчас вяло-беспомощные нейроны гиппокампа тоже замлели и не реагировали на команду – *вспомнить.*

А вспомнить я не мог... о ужас! – вспомнить не мог имя человека, уже без малого сотню лет влияющего, прямо и опосредованно, на литературу, притом все, что в мире писалось и пишется, в той или иной степени вытекает из его главной книги. Перед самым пробуждением, собственно, и спровоцированным тревожным смятением, вдруг пришло это *невспоминание*, и сна как не бывало. Боже, что со мной, неужто начало того, о чем страшно подумать? И раньше, случалось, забывал имена, скажем, русских и голливудских актеров, режиссеров, напрягался и через короткое время мозг услужливо подсказывал. Но вот уже с полчаса тшусь заставить память отдать требуемое имя, а та ни в какую.

Самая большая блядь – это твоя память, она изменяет тебе на каждом шагу.

Светлячками роилось разрозненное, не раз читанное и хорошо запомнившееся (значит, не совсем дырявое решето ношу): глаза-плошки под круглыми очочками, щепотка усов, выпивоха и завсегдатай дублинских борделей, родился в четверг и вполне оправдал ирланд-

скую песенку: «Thursday's child has far to go» – «*четверговое дитя далеко пойдет шутя*», 16 июня девятьсот четвертого, тоже в четверг, встретил гостиничную горничную Нору Барнакл и обессмертил потом этот день, названный его почитателями Bloomsday, заключил с «прилипалой» (barnacle по-английски – прилипала) брак только спустя двадцать с лишним лет, прижив с ней двоих детей и оставив потомкам письменные свидетельства, что так хорошо в постели, как с ней, ему не было ни с кем (не стеснялся в письмах к Норе, сладкоглазой испорченной школьнице, чудесному дикому цветку на изгороди, описывать свое звериное, яростное вожделение, испытываемое к каждой потайной и стыдной части ее тела, ко всем его запахам и отправлениям), Нора не прочитала ни одной его книги, но разве это обстоятельство имело какое-то значение, между ним и женой не было никакого средостения; запечатлевший на тысяче страниц один день дублинского еврея, мелкого рекламного агента Блума – да-да, то самое 16 июня – «в Ирландии нет антисемитизма, потому что нет евреев», но один все-таки нашелся.

Но как же зовут автора... Джон, Джозеф, Джим, Джошуа? Нет, не то. Можно сойти с ума.

Спальня потихоньку набиралась мглистого, тусклого, оробелого утреннего декабрьского света. Я никогда не пользовался подсказкой будильника, во мне постоянно жило нутряное чувство времени, безошибочно определял часы и минуты дня, словно пробуя их, как слепой, на ощупь, и разница с реальным временем оказывалась ничтожной. Семь ноль пять, машинально отметил про себя, сел на кровать, помедлил мгновение, собираясь с силами, выпростал ноги из-под клетчатого пледа, рывком поднял длинное плоское пока еще послушное тело, вддел ступни в шлепанцы и проследовал в ванную. Спешить нет нужды, праздник – у католиков Рождество, а вместе с ними отдыхают и многие прочие, новое, третье по счету, издание, которое я редактирую, не работает и я избавлен от необходимости тащиться на сабвее в Манхэттен.

В овальном пластиковом багете зеркала на меня глазел заспанный тип с белой однодневной щетиной, упавшем на лоб клоком пепельно-серых волос, который, если его уложить на место, не покрывает череп, оставляя плешь-прогал; оврагов, ям и борозд на лице, правда, почти не было, кожа возле губ не одрябла, щеки не обвисли брылями, однако это никак не составляло предмета гордости на общем фоне отечности под глазами и коричневых пигментных пятнышек, начавших выступать на лбу, выдавая возраст. *Старая облезлая собака*, без горечи и сожаления, просто как очевидный факт, отметил я. В таком возрасте в зеркале видишь лишь гримасы времени. Едва подумал об этом, в мозгу что-то внезапно включилось, будто кто-то вддел в розетку выдернутый ночью шнур и токи возбудили дремлющие праздные нейроны. *Зеркала и совокупление отератительны, ибо умножают количество людей*. Это – Борхес, едва не воскликнул, радуясь внезапному озарению. А еще жалуешься на потерю памяти...

Но как же все-таки зовут писателя... Мало кто может похвастать, что осилил «Улисса» с первой попытки, я сам – с третьего раза, но все равно – гений, потому что первый сделал форму содержанием, а содержание растворил в форме. Часто поминают гоголевскую «Шинель», из нее, мол, вся русская литература вышла, а из «Улисса» – мировая, в том и разница. Проклятье, маразм, предзнаменование болезни – забыть такое имя. «Внучек, как зовут того немца, от которого я без ума? – Альцгеймер, бабушка...» – вспомнил анекдот. С другой стороны, чего переживать? Подойти к компьютеру, нажать клавиши – и вот тебе ответ преподнесен. Железка выручит. А сам, значит, бессилен? Напрягись, заставь шарики вертеться, избавь себя от позорища, хотя какое позорище – просто близящаяся старость и ничего более, семьдесят с лишком как-никак.

Старая облезлая собака, беззлобно, скорее по привычке, вновь обозвал я себя, снял трусы и шагнул в ванную. Горячие струи обдали тело, вогнав в вожделенную дрожь сродни оргазмической, вода по обыкновению рождала во мне греховные мысли, являлась побудительным мотивом эротических видений, вот и сейчас помимо себя переключился с безуспешных попыток *вспомнить* совсем на иное – завтра придет Ася и он снова восхитится ее прелестями, когда повернет ее к себе спиной, наклонит и задница в духе Ботеро откроется во всей дивной, непре-

взойденной, бесподобной красоте. Врут мужики, утверждая, что любят сухое вино и худых женщин, на самом деле они любят пиво и толстущек. Я был потрясен, увидев задницы Ботеро, не помню в какой галерее Нью-Йорка, лет десять назад. Мерило божественной красоты, плод потаенных мужских фантазий, огромные безразмерные задницы блистали, сверкали, угнетали, подавляли, манили, дразнили с холстов, упиваясь безраздельной силой и мощью. Асина задница вычерчена циркулем: опорный стержень с иглой на конце вставлен в то самое место, другой – чертежный, с грифелем, вывел идеальную окружность.

До дрожи и отвращения к *дуришлягу на плечах*, я тем не менее часто воспроизводил про себя не единожды читанное, и потому оживить еще раз не составило труда: как *невспоминаемый* мной исповедовался в письме все той же женошке в любви, рисуя желанную картину: повалить на мягкий живот и отодрать сзади, как хряк свиноматку, при этом упиваясь едким и сладким запахом, исходящим от ее зада; кажется, он воспроизводит точно – такое бесстыдно-беззастенчивое можно адресовать только совершенно, всеми фибрами души преданному и близкому человеку, при одном твоём имени трепещущему, растворяемому в тебе без остатка, как азот в воде. *Невспоминаемый* и его Нора были в этом отношении счастливыми людьми. Ася – из породы таких женщин, хотя и не жена мне вовсе, у нее свой муж. Она приезжает раз в неделю из Лонг-Айленда, где живет и работает в страховой кампании, иногда простаивает в «пробках», дорога в один конец занимает часа полтора, а то и больше. В постели она бесподобна, у нее нет нелюбимых поз, но коленно-локтевая... О, это блаженство высшего порядка – и для нее, и для него. *Старая облезлая собака* творит чудеса при виде пухлых, идеально вычерченных, все еще плотных, упругих, несмотря на Асин постбальзаковский возраст, ягодиц. Невысокая, плотно сбитая Ася забирается на постель коленками, выгибается кошкой, выставив перед собой руки, от этой позы он форменным образом балдеет: ее ягодицы в приоткрытом пространстве (оба не любят яркий свет во время секса) отливают лимонно-лунным светом, и кажется, Селена перекочевала в эти минуты к ним в спальню. Асины пальцы сжимают и царапают простыню, стоны непрекращающихся оргазмов окатывают спальню подобно водопаду, ягодицы входят в резонанс с движениями пениса, приближая уже его апофеоз – маленькую смерть.

Муж, по Асиным признаниям, обожает ее, он как мужик в порядке, к тому же в подмогу берется вибратор, так что удовольствиями отнюдь не обделена. «Зачем ты приезжаешь ко мне? Я далеко не молод, любовник не самый внимательный, мы редко ходим куда-то вместе – нет времени, на кой черт я тебе нужен?» – «Не знаю... Я думаю о тебе каждый день. Может быть, это то, что называется любовью?» Может быть. Ася напоминает мне скрипку, на инструменте надо играть достаточно часто, иначе струны перестанут чувствовать смычок, она охотно предоставляет возможность играть на скрипке мастерам, способным извлекать волшебные звуки, и никому другому. Волей случая я причислен к ним, заслуженно или нет, другой вопрос, наверное, какие-то основания для этого имелись, льщу себе, иначе не видать мне божественной Асиной задницы как своих ушей. В момент соития бледно-светящаяся, фосфоресцирующая в полутьме поверхность ягодиц подрагивает в такт маятниковым движениям, я трепетно глажу кожу, нежно пощипываю, кожа гладкая и чистая, без единого пупырышка, я чувствую это кончиками пальцев и ладонями, маятник то раскачивается, убыстряя амплитуду, то замедляет движения, ягодицы чутко реагируют, подрагиваниями дают понять, какой темп в данный миг уместен, я следую их безмолвным указаниям, и эндорфины – гонцы наслаждения, гормоны мгновенного счастья – уже спешат пронзить все мое естество...

Перешагиваю бортик ванной, встаю на заранее посланный на холодный кафель коврик, обтираю порозовевшее тело махровым полотенцем, будоражащие видения покидают, и откуда-то издалека, словно само собой разумеющееся, приплывает утраченное во сне и мучительно вспоминаемое все утро. Джеймс. Ну, конечно, Джеймс, и тут же вмиг ставшая покла-

дисто-услужливой память выталкивает – Джойс. А я-то мучился, напрягался, казнил себя...
Так впредь будет легче запомнить, не потерять в закоулках гиппокампа...

4

Прошла зима, бесснежная, с ветрами и без морозов, какая часто бывает в Нью-Йорке, моя очередная иммигрантская зима, поразившая тем, что на Рождество, похоже, в то самое утро, когда я безуспешно боролся с выкрутасами памяти, зацвели подснежники. Обычно это происходит двумя с половиной месяцами позже – в марте. На воспетых Ленноном «Земляничных полянах» Центрального парка забелел ковер. А весна выдалась такой, какой ей и надлежит быть в этом ни на что не похожем городе, где становятся реальностью самые дикие и безумные идеи, – короткой, невнятной, словно и не весной даже, имеющей единственный признак смены времен года – обилие распускающихся, в отличие от подснежников в положенное им время, цветов. Город опушился нежно-розовой, малиново-пурпурной, золотисто-оранжевой благоухающей магнолией с бутонами, похожими на изящные бокалы с шишковидными пестиками внутри; цвела белая и розовая сакура, в разных уголках – не только в парках и ботанических садах, но и за оградами частных домов и близ многоэтажных жилых строений – появлялись орхидеи, тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Каменные джунгли расцветчивались яркими красками оранжерей.

Минул апрель, наступила середина мая и грянула жара за семьдесят фаренгейтных градусов, пролились дожди, установилась летняя влажная погода, когда потеешь, как в турецком хаммаме.

В один из воскресных дней я приехал в Фэйрлон в гости к Роберту. Близлежащий к Манхэттену район Нью-Джерси уже давно облюбовали русские, всей езде на машине через мост Джорджа Вашингтона над Гудзоном было минут двадцать. Я же, за неимением машины, добирался на автобусе больше часа. Роберт, кроме меня, пригласил чету Янсонсов с двумя детьми-погодками, мальчиком и девочкой. Они резвились на открытом воздухе, женщины хлопотали по хозяйству, готовя обед, а мы сидели на порче, в пяти метрах от которого беззвучно и незаметно протекал крохотный ручеек, обрамленный кустарником и деревьями. Порч – открытая деревянная веранда сзади таун-хауса – создавал иллюзию сельской идиллии. *Alabama porch monkey* («Алабамская обезьяна на крыльце») – выплыло когда-то услышанное, я повторил про себя небезопасное словосочетание, грозившее большими неприятностями тому, кто осмелится произнести вслух в присутствии темнокожего; звучало оскорбительно, примерно как *жидовская морда*. Почему-то упоминание порча – porch всегда вызывало у меня потребность повторить, просто так, упаси бог, без всякой задней мысли или умысла, про алабамскую обезьяну, облюбовавшую веранду. Так иногда бывает: дурацкое засядет в мозгу и не вышибешь при всем желании.

Мы потягивали пиво и трепались на книжные темы. О чем еще могут говорить в расслабленном состоянии трое людей, называющих себя литераторами. Ну, не вечно же о бабах... тем более, что жены крутятся рядом, это я – разведенный и не жаждущий снова надеть хомут, а двое моих друзей – семейные, у Вадима дети-подростки, у Роберта уже и внуки. Впрочем, не возбраняется и о бабах, но сейчас разговор вился, причудливо петляя, убегая с магистралей в узкие улочки и переулки, совсем о другом.

Роберт изъяснялся в своей излюбленной манере: цедил слова, небрежно острил, делал вид, что обсуждаемый вопрос его нисколько не интересует, не задевает, и вдруг ни с того ни с сего взрывался, начинал яриться, наскокивать на воображаемого противника, хотя никто из нас ему особо не оппонировал; заводя себя и захлебываясь словами, он на мгновение прикрывал глаза и задирает голову, как молящийся в экстазе, бритый череп с остатками волос по краям покрывался потом, он утирал его салфеткой; Вадим – крупный, грузный, похожий на бизона, немного вальяжный, с щеткой седых волос на крупной шаровидной голове и усами *а ля Джон Болтон*, не ввязывался в полемику, парировал наскоки точными, логически выстро-

енными фразами, словно выпадами на рапире, но нет-нет и сворачивал с главной колеи, и тогда начиналось представление, театр одного актера, монолог с копированием лиц, манер, голосов, интонаций незнакомых нам людей, которые открывались всеми своими неподражаемыми чертами. Мы хохотали, монолог ни в коем случае не хотелось прерывать, и даже разгоряченный хозяин порча умолкал и слушал.

Я любил Роберта, мы были единомышленники, хотя я отнюдь не ярко выраженный демократ и поклонник Обамы, как он; в Москве сотрудник научно-популярного журнала, здесь, в Штатах, быстро осознал: пером иммигрант много не заработает, и предпочел выучиться, как и жена, на программиста. При этом написал несколько неплохих научно-фантастических романов и издал их в Москве, получив гонорар в виде кошковых слез, впрочем, не переживал по этому поводу – его и жены зарплаток хватало на небогатую, но вполне достойную жизнь, включая уже выплаченный таун-хаус и две машины. Вадим, напротив, являл пример невероятной и мало кому доступной в подражании жизни, построенной на отчасти бесшабашной, победительной уверенности, что любые невзгоды можно преодолеть, если знаешь, чего хочешь, имеешь твердый характер и немного удачи. Внук погибшего при штурме Перекопа латышского стрелка, славянин по матери, он работал в рижской русской газете. Женившись на москвичке, перебрался в столицу и устроился редактором в отдел прозы одного из издательств, выпустил под эгидой издательства сборник рассказов и повесть. По приезду в Америку, получив первые гонорары как фрилансер в «Новом Русском Слове» и на «Свободе», понял – на это не просуществоешь – и занялся бизнесом с Россией. На этом поприще, как ни удивительно, гуманитарий достиг немало, создал торговую компанию с миллионными оборотами. Конечно, рисковал, однажды на подмосковном шоссе пережил кошмарные минуты под дулом автомата и чудом остался жив. Такая неустойчивая жизнь – пребывание на палубе при сильной качке – по плечу лишь сильным и немного отчаянным натурам. Мне самому это несвойственно – не знаю, печалиться ли по сему поводу или радоваться, что избрал куда более спокойную форму существования.

В середине двухтысячных, уже при новой власти, на компанию, как следовало ожидать, был совершен рейдерский наезд, с помощью ментовской «крыши» удалось отбиться, и Вадим, проанализировав российскую обстановку, решил распрощаться с бизнесом. Сумел выгодно продать компанию, избавился от недвижимости, которая еще была в Москве в большой цене, и зажил в Нью-Йорке на немалые сбережения. Его тянула литература, он много писал, ему было что поведать о жизни, открывшейся разными сторонами, однако печататься особо не спешил. Женатый вторым браком на русской много его моложе, он был счастлив.

Вадим был самобытен, ярок, умен и доброжелателен – редкое сочетание в среде иммигрантского обитания. Начитанность его поражала. Я питал к нему особую приязнь, мы были, кажется, интересны друг другу, тем не менее, оставались на «вы» – ни я, ни он не переходили в отношениях некую условную грань, как бритва, отрезающую любую возможность, хоть и в малой степени, развязности, панибратства или, куда хуже, амикошонства.

Роберт обычно начинал разговор спокойно, даже вяловато, без особого энтузиазма, как бы нехотя, словно по инерции, и вдруг воспламенялся, предпочтя плавному течению беседы огонь костра с треском горящих сучьев и веток, разбрасывающих искры и жгучие брызги. На этот раз избрал немного выпретенный, доверительно-наставительный тон.

– Не кажется ли тебе, Даня (меня он не называл полным именем, данным при рождении – Даниил, а только уменьшительно-ласкательно – Даня), не кажется ли тебе, что мы все, пишущая по-русски в Америке братия, своего рода уходящие натуры? Кого здесь интересуют наши книги?! Тиражи мизерные, покупают преимущественно старики, ну, кое-кто среднего возраста, а молодежи мы и нафиг не нужны – читают на английском, если вообще читают, и то на своих планшетах. Страсть пошелестеть страничками, запах краски вдохнуть – бывлая рос-

кошь, нынче насовсем утерянная... Ты в метро едешь, многие там книги в руках держат? Я хоть и не езжу, последний раз лет пятнадцать назад был, а уверен – единицы.

– Положим, мои романы, как и твои, в основном в России издаются, не в Штатах...

– Ну и что? За твоими романами очередь выстраивается? Ты серьезные вещи пишешь, рецензии хорошие, правда, редкие, рецензентам тамошним платить надо, чтоб откликнулись, а ты принципиально не платишь, и я не плачу, поэтому кто нас читает...

– Рецензентам? А издателям? Норовят три шкуры с автора содрать, за его счет публиковать. Особенно с нас дерут – америкосы, они богатые... Риска никакого, а прибыль какая-никакая есть. Обещают распространять наши книжки, естественно, врут или не занимаются этим всерьез.

– Между прочим, некто Коровьев резонно заметил: люди ни в какой литературе не нуждаются. Им развлекалово подавай, что в глянце, что «по ящику», – заметил Вадим. – Не все, однако, так мрачно. Недавно в Москве побывал, походил по магазинам, пригляделся: народ все-таки читает, весьма избирательно. Есть и хорошие, серьезные книжки, но мало их...

– А что с романом твоим? Как опыт издания на родине-матушке? Первый блин комом или?..

– Все, Роберт, как положено: обед с редактором в дорогом ресторане, две встречи с читателями. Стоило мне это издание пару тысяч, зеленых, разумеется. Говорят, неплохо продается, хотя кто это знает, проверить невозможно. Вернуть и половину денег не удастся. Ну да бог с ними...

Разговор напоминал прыжки кузнечика: с литературы переходили на политику, не давали покоя выборы с внезапным появлением нового президента, коего никто в расчет не принимал, а он возьми да займи Белый дом. Об этом толковали, спорили с пеной у рта, ярились везде и всюду, доходило до скандалов, друзья расставались с друзьями, мужья едва не разводились с женами – народ ополоумел, с глузду съехал. Роберт неистовствовал, ему – ярому демократу это было как серпом по чувствительному мужскому предмету, он негодовал по поводу российского вмешательства в выборы, которое обозначалось все резче.

Вадим реагировал по-своему: наконец-то возник человек, смело говорящий правду, остальные же по поводу пустой болтовни в Белом доме предпочитали отмалчиваться. «Я думал, таковых в Америке нет, однако нашелся Трамп. Он победил и я рад... Штаб Клинтон в пяти минутах ходьбы от моего дома, когда стало ясно, что Хиллари проиграла, люди из штаба высыпали на улицы, в том числе на мою, многие рыдали, запах марихуаны преследовал всюду, не продохнуть...» И добавил, видя скривившуюся физиономию Роберта: «Трамп – не политик в устоявшемся смысле слова, я думаю, он как бизнесмен твердо будет стоять на выполнении своих обещаний. В бизнесе ведь как: ты можешь обмануть один раз, ну, дважды, но потом от тебя отвернутся, никто к тебе не пойдет... Другое дело, может не получиться. За это никто не осудит. Но законы бизнеса, скажем, во внешней политике, срабатывают наполовину, не более...»

Я же считал, что не Трамп выиграл, а Хиллари проиграла – с ее фальшивой улыбкой, самомнением, абсолютной уверенностью в успехе и просчетами в оценке избирателей: оказывается, в глубинной Америке охотно верят популистам и демагогам с диктаторскими замашками...

В общем, ни до чего не доспорили, каждый при своем остался, и незаметно перепрыгнули опять на литературу. Я вдруг вспомнил, как боролся с гримасой памяти, предательски потеряв имя Джойса. Друзья посмеялись, посочувствовали – с каждым может такое случиться.

– Вот все говорят: великий писатель, роман – вершина модернизма и прочее, – я опустошил очередную бутылку Stella Artois и закусил шпротинкой. – Не спорю, великий, замахнуться на тысячу страниц описания одного дня Блума надо быть или сумасшедшим, или, действительно, гением. Но скажите мне, братцы, что нового он открыл в человеке, чего мы прежде не

знали или лишь догадывались? Ничего. Ничего не открыл. В этом смысле Толстой и Достоевский куда выше.

– У него цели такой не было, – заспорил Роберт и закатил глаза. – Он пути развития мировой прозы указал. Все серьезное, значимое, что потом писалось и издавалось на Западе, джойсовским лекалам следовало.

– Касательно формы – да. А по части открытия человека – Даня прав, я с ним согласен, – поддержал меня Вадим.

– А вот в России никаким Джойсом и не пахло, никто не пытался писать, как ты, Роберт, изволил выразиться, по его лекалам, – ввернул я.

– Даня, дорогой, у нас свой Джойс был, хотя ни на что не претендовал, и не печатали его по иным причинам.

– Кто же? Почему не знаю? – я состроил соответствующую гримасу.

– Знаешь, не придуривайся. Платонов. Не было и нет ему равных...

– Между прочим, Бродский ставил Платонова в один ряд с Джойсом, а кое-кто сравнивал с Ионеско и Беккетом. То есть с классиками абсурдизма, – напомнил Вадим.

– Насчет абсурда еще поговорим, да? Мне странная мысль пришла, – я налил пива, держа бокал под углом, чтобы не было пены – в отличие от друзей, пил не из бутылки – старая московская привычка. – Что для писателя самое важное? Ну, понятно, талант, чувство языка, глубина постижения реалий жизни и т. д. А еще что?

– Этого достаточно, – усмехнулся Роберт.

– Нет, недостаточно. Надобна еще хитрость.

– Это как понять?

– Очень просто. Когда я в университете учился, в нашей группе один парень был, Эдик, Эдуард Иванович, с долгим еврейским носом, но «Иванович», поскольку отец – русский, кажется, погиб на фронте. Эдик курьером в «Новом мире» работал. Так вот, он нас в редакцию заводил поздно вечером, доставал из сейфа рукописи и кое-что мы коллективно читали, иногда до полночи. Рукописи на гулаговскую тему. Запомнил рассказ Ерашова, был такой калининградский писатель, «Комкор Пронин» назывался. Главного героя арестовывают и расстреливают. Заканчивался рассказ так: «И в этот момент у комкора Пронина родился сын...» Таких рукописей в портфеле редакционном уйма была. Твардовский не давал им ход, ждал чего-то особенного, из ряда вон выходящего. И дождался. Кстати, про Солженицына Эдик нам ни слова, ни полслова, а рукопись «Одного дня» уже лежала в сейфе... «Колымские рассказы» ни в чем не уступали, Шаламов по таланту выше, мне кажется, но... Солженицын хитрее. Надо было додуматься описать один *счастливейший день* сталинского зэка, да еще вкратить страницы про ударный труд каменщика Ивана Денисовича! Никита усердился от радости, тыкал Суслову в нос эти страницы при обсуждении, печатать или похерить. «Вот ведь каков советский человек: в лагере сидит безвинно, а работает с энтузиазмом, получает удовольствие от труда...» Сцена эта, похоже, судьбу повести решила – и проснулся Александр Исаевич знаменитым...

– Хочешь сказать – он свою вещь *приспособил* к публикации, прекрасно понимая, что в ином виде света не увидит, – уточнил Вадим и погладил усы.

– Именно так. Изъял наиболее острые места, через цензуру заведомо не проханже. И ничего в этом зазорного нет – напротив...

– Откуда известно про изъятие?

– Не секрет. Писали потом об этом.

– Хитрость, говорите... – Вадим меланхолично бросил в рот соленые орешки, слегка головой покачал и губами неопределенное движение сделал, вроде как засомневался. – Сдается мне, не в хитрости, как ее обычно понимают, дело. Я часто о судьбе его задумывался, о фатуме, выпавшем жребии. Желаящего судьба ведет, нежелающего – тащит. Его судьба вела. Вы меня сейчас начнете в конспирологии уличать, но я вам, братцы, вот что скажу: он заранее

тернистый путь избрал, определил величие замысла, как иногда говорят. Что имею в виду? Вот слушайте. Пишет с фронта старому другу про Пахана, то есть, про Сталина, кроет его на чем свет стоит, намекает на желание создать после войны организацию для восстановления ленинских норм... Верил тогда в нормы эти... Знает, что письма перлюстрируют, что попадет оно в руки смершевцев – и отчаянно идет на это. К стенке за такие письма поставить могли запросто, а ему восемь лет отмерили – детский срок по тому времени. Зачем, спрашивается, рисковал по-глупому? О друге, которого подставил, вообще умолчу. А потому подвел себя под арест, что в душе примерял судьбу великого писателя и захотел быть там, где народ сидел, – в лагере. Сам потом жене говорил, что арест считает благом, без этого не стал бы тем, кем страстно хотел быть. Идем дальше. Мог попасть, как тот же Шаламов, на Колыму и кончился бы там, а попал вначале на стройку домов в Москве, потом в шарашку и только треть срока – на общих работах в лагере, где до бригадира дорос. Далее. Заболел раком и чудодейственно выжил без последствий. Лубянцы его ядом травили – любой бы загнулся, он опять выжил. Решается в верхах, сажать его и отправить в Верхоянск на верную гибель или выслать из страны, Андропов убеждает, что высылка лучше посадки: на Западе он быстро сдуется. И, сам того не желая, спасает его. Ну, разве не перст Божий?! Однажды написал Исаич, что каждый человек должен разгадать шифр небес о себе. Он – разгадал.

– Ты к тому клонишь, что он – убежденный фаталист, верит в божий промысел относительно себя? – Роберт произнес с нажимом, многозначительно.

– Да, именно так. Отсюда и хитрость, как утверждает Даня. А, по-моему, стремление любой ценой осуществить предначертанное судьбой, фатумом. Он смел и упрям, невероятно упорен в осуществлении задуманного, сметает все препятствия. Надо обхитрить Никиту и цензуру – он еще десять эпизодов доблестного труда на лагерной стройке придумает или нечто подобное, лишь бы брешь запретов пробить и выйти к читателям.

– А может, прав Андропов и Солженицын на Западе действительно сдулся? – я поднялся размять замлевшие ноги. – Что подсказал Александру Исаевичу шифр небес? Обнести забором усадьбу в Вермонте и вызвать оторопь местных жителей, сроду не видевших заборов? Еще б колючей проволокой обнести – и чистый лагерь. Это ж удивительно: советский человек на Западе прежде всего стремится уголок родины создать, в данном случае – малый ГУЛАГ... Выступить со скандальной Гарвардской речью, обвинить давшую ему приют и покой страну в смертных грехах, ни хрена не понимая в американской жизни? Но главное, потратить четверть века на красные колеса, которые поначалу ехали со скрипом, а затем и вовсе остановились? Никто в России не читает нудятину многостраничную, вывернутым наизнанку языком написанную. Разнесли автора на родине в пух и прах, признали оскудение дара, идеологическую пристрастность, затемнение громадного ума, словом, крушение великого писателя...

– Бог с ними, с колесами, но как увязать то, что великий человек вторую половину жизни тратит, чтобы миру доказать и самому себе – во всем евреи виноваты и революция была еврейско-ленинской? – Роберт подпер рукой подбородок и жестко, вприщур, оглядел нас. – Семен Резник прав: это ж своими руками убить то, что невероятными усилиями таланта и духа созидал в первую половину. Трагедия в квадрате, супертрагедия.

С минуту молчали, пережевывая услышанное, каждый по-своему. Солнце палило вовсю, я пересел в тень, снял бейсболку, пригладил слегка взопревшие волосы. Роберт принес из холодильника новую пивную упаковку.

– Что славу писателя делает? При всех необходимых качествах, которые мы упоминали, – еще и скандал. Что, банально звучит? Согласен, но от этого суть не меняется. К Солженицыну самое прямое отношение имеет. Вот другой пример. Не передай, допустим, Пастернак «Живаго» леваку предприимчивому Фельтринелли и не включись в операцию цэрэушники, – не видать моему любимцу Нобеля. Я его стихи наизусть помню, поэт великий, за стихи и переводы достоин был премии – но не присудили бы, не будь скандала, – произнес я и сделал паузу.

Роберт вскочил, прошелся по веранде туда-обратно, он был возбужден, заговорил нервно, задышливо.

– Вспоминаешь его травлю и диву даешься: из-за чего сыр-бор устроили... Полный идиотизм! Дали бы народу прочесть книгу, она ровно ничего не изменила бы, не подорвала устои... «Живаго» – не выдающаяся литература, и вы меня не переубедите. Да, прекрасны страницы о любви доктора и Лары, описания природы... Но в остальном – неестественность, натянутость, недостоверность...

– Никто с тобой, Роберт, полемизировать не собирается. Я другого мнения, но это не важно, – Вадим тяжело отодвинулся от стола и вытянул ноги, заняв удобную позу. – Мы о другом сейчас. Скандал и впрямь – полезен, примеров уйма, и не только «Живаго». «Лолиту» издательства отвергали, Набоков поначалу собирался печатать под псевдонимом. Оруэлл, «Скотный двор», англичане откладывали издание из-за критики коммунизма. Кто еще... Миллер, «Тропик рака», вышел в Париже, в Америке был запрещен – дескать, порнография... И тем не менее, успех книги, фильма, спектакля на Бродвее от уймы обстоятельств зависит... Чаще всего автор сам не знает, что на пользу, а что во вред. Порой чистая случайность логические расчеты бьет. Один только скандал ничего не решает. Если бы можно было формулу успеха вывести, мы бы все стали знаменитыми. Один мой знакомый литератор занят этим, ищет заветную формулу, как алхимик – философский камень. Итог, понятно, нулевой. Успех разными неконтролируемыми мелочами достигается, учесть их невозможно. Но главное, насколько запрос читающей публики угадан. В кино еще заметнее: вышел фильм на месяц раньше конкурента – и произвел фурор, а конкурент с близкой темой провалился в прокате.

Вадим смолк и вновь принял задумчиво-отрешенный вид.

– Ты великие произведения перечислил, они и так бы дорогу пробили. А вот «50 оттенков серого» – полное говно, а тираж немыслимый, мазохизм, оказывается, очень привлекает, особенно баб, – выстрелил Роберт и победно пристукнул початой бутылкой пива о пластиковый стол.

– Так и я об этом! Угадан запрос читателей.

– Вы призываете подделываться под вкусы публики, так? – возразил я.

– Никого ни к чему я не призываю. Просто размышляю.

– Но как быть тем, кто сочиняет ради самовыражения, а не на потребу широкой массе?

– Ну и самовыражайтесь на здоровье и не заморачивайтесь, будут вас читать или нет.

Только какое издательство рискнет такую прозу издать?..

– Если человек замыслил роман и начинает прикидывать, словно на счетах костяшки гонять: это и это подогреет интерес, а вот это скучно и нафиг читателям не нужно, иначе говоря, заранее строит формулу успеха, как он ее понимает, то можно не начинать писать – ничего путного из-под пера не выйдет. Скажем, затребован сегодня тренд описывать лесбийскую любовь, без нее редкая книга обходится, давай и я выдумаю такие сцены... Заданность любой сюжет убивает.

– Поймите же: книга такой же товар, как машина, компьютер, костюм, да что угодно; она подчиняется законам рынка, моды, спрос рождает предложение.

– А наоборот? Я написал для себя, самовыразился, меньше всего думал о продаже, предложил читателям товар – и попал в точку, книга стала востребованной. Такое бывает, Вадим?

– На свете чего только не происходит... Но ваш, Даня, пример неудачный – все-таки писатель не может в вакууме творить, без учета желаний читательских.

– Да откуда известно, какие у них желания?! – взъерепенился Роберт. – Сегодня – одни, завтра – другие. Спор наш – чистая схоластика. Послушал бы кто со стороны и усмехнулся: вы чего, ребята, возомнили о себе, судите-рядите, приговоры выносите? Вы вообще кто такие, вас что, слава на крылах своих вознесла, о вас денно и ночью пишут критики, на английский и прочие языки вас переводят, к Нобелю представляют? Вы, может, и талантливые, хрен вас

знает, однако не ведомы имена ваши массе читательской в России, ну, может, Даню знают, и то сомневаюсь...

– Еще не хватало самоедством заняться... Ну, ты, Роберт, даешь! Я тебя спрашиваю: что, на нашей родине гении завелись, которых повсюду издают? Ладно, не гении, а просто яркие писатели, которых западный мир признает? Где они, ткни пальцем, укажи? То-то и оно, нет их, властителей дум, творцов новых форм. Нет! А то, что плохо знают нас, не наша вина. Без раскрутки писатель стреножен. Как критики воспримут его работу, а на них управы нет, захочет ли издательство вложиться в рекламу, окупит ли расходы? А до этого – настойчивость агента литературного, его посылают подальше, а он продолжает во все дыры лезть. У большинства агентов в глазах только дензнаки и ничего более. Притом вкус отсутствует, не понимают, где можно заработать, а где придется пустышку тянуть. Я ни одного толкового агента не встретил.

– Есть и умные, предприимчивые, со связями, авторитетом, – Вадим решил остудить страсти. – И еще актеры бесподобные. Представьте картину: женщина-литагент, испанка, правдами и неправдами пробилась в солидное американское издательство, села в приемной главного редактора и залилась горячими слезами. Секретарша начинает успокаивать, спрашивает, в чем причина слез, та не отвечает. Главный редактор занят, не желает принять слезливую бабенку, испанка в рев и только приговаривает: «Маркес, Маркес...» Дабы отделаться от нее, издательский босс приглашает литагента в кабинет, испанка мигом прекращает психическую атаку в виде слез, вытирает глаза и щеки и протягивает папку с рукописью: «Гениальный колумбиец, будущий нобелевский лауреат, верьте мне». На титуле неизвестное боссу имя: Габриэль Гарсиа Маркес, «Сто лет одиночества».

– И что дальше? – заторопил Роберт.

– Дальше слез не понадобилось – босс отдал рукопись консультанту и переводчику, и завертелась машина. Маркес впервые был издан по-английски. Остальное вы знаете...

– Где найти такую смекалистую особу? – мечтательно произнес Роберт.

– И предложить ей роман уровня великого колумбийца, – съязвил Вадим.

Роберт глубоко вздохнул...

– А маркетинг? Братцы-кролики, мы забыли о маркетинге.

– Валяй, Даня, просвети нас по сему поводу, – поделдыкнул Роберт.

– Рассказываю как анекдот, а может, и правда – поди разберись. У некоего писателя совсем не продавалась новая книга – так он придумал и дал объявление в газетах: «Молодой красивый миллионер хочет познакомиться с девушкой, похожей на героиню романа...» – далее название. За день тираж был распродан.

Я открыл новую бутылку. Пиво обычно пью редко, а тут на свежем воздухе дорвался... Вдруг в услужливой памяти прокрутилась поездка в Марбург лет десять назад: как читал вслух любимые стихи у дома, где когда-то студент Пастернак жилье снимал и где мемориальная доска. Проходившие по улице немцы понимающие взгляды бросали: еще один русский чудик чтит своего гения... Я задумался тогда о том, о чем сейчас – был ли выход из лабиринта, куда автор «Живаго» загнал себя по собственной воле? Было два пути: капитуляция, соглашательство с властью, требовавшей отказа от премии и покаяния, грозя высылкой, и – борьба. Он сдался. Гневно потом Солженицын прозвучал: корчился от стыда за него как за себя, как можно было бормотать о своих ошибках и заблуждениях, отречься от собственных мыслей, от собственного духа отречься, только чтоб не выслали... Негодовал, осуждал, забыв, кем был автор «Живаго». Ни расчетов, ни выгоды он не преследовал, солженицынской «хитрости» в нем и в помине не было, а главное, помнил – *пораженье от победы ты сам не должишь отличать*... Да, вынужденная эмиграция, которой его страшила власть, была вполне возможна, *третий путь* мог оказаться вовсе не пагубным, более того, его приняли бы на Западе восторженно. Какое счастье писателю европейской культуры, переводчику Шекспира, увидеть Англию, снова побывать в Германии, побродить по Марбургу, где судьба подарила сильную

влюбленность в Иду Высоцкую, встретиться в Париже с литераторами, с которыми находился в переписке, наконец, прилететь в Америку... Ждали бы его мировая слава, почет и уважение. Возможно, прожил бы долгую жизнь – онкологические заболевания часто последствия стрессов... А он сдался, отбросив саму мысль об эмиграции, третий путь оказался неприемлем. Трагически-одиноким, добровольно взошел на Голгофу с чувством исполненной Миссии. Больше ему ничего от жизни не было нужно...

Я порывался включить друзей в орбиту моих размышлений, стал лихорадочно излагать *про третий путь*, они слушали с вниманием, не вполне понимая, куда клоню, и лишь в самом конце моего долгого спича, когда я упомянул толстого, надменного, лоснящегося самодовольством хлыща с саркастической улыбкой всезнайки, которого мы трое терпеть не могли, отдавая дань его феноменальной памяти и морщась от его завиральных идей, до них дошло. С чего вдруг его вспомнил? А вот с чего. Франкфуртская книжная ярмарка, несколько литераторов гуляют по Марбургу и бурно спорят, стоило ли Пастернаку уезжать из страны. Мнения разделились. И лишь ближе к ночи, на пустых готических улицах, все сходятся на том, что (далее я цитировал по памяти, хорошо запомнив этот пассаж) «решение выехать за границу отменило бы *божественно красивый, трагический финал жизни, уничтожило* бы его посмертный триумф. Не было бы траурного *торжества его похорон. Не было бы легенды...*»

– Выходит, писатель, даже великий, должен, оказывается, красиво и трагически уйти из жизни, позаботившись о посмертной славе, связанной именно *с уходом*, так? – Роберт недоуменно развел руки.

– Срежиссировать, заранее решив, что сработает на посмертный триумф, а что нет, – поддержал Вадим.

– Как Мисима, – заметил я. – Был такой японский писатель. Талантливый, известный. Славу обрел, сделав себе харакири в сорок пять. Лицедей, не скрывал, что жизнь для него – сцена. Финал тщательно обдумал и подготовил. В итоге стал Главным Японским Писателем. А без харакири... Ничего особенного. Ну, даже Нобеля получил бы. Но зато как красиво и трагично – вспороть себе брюхо, выпустить кишки...

– Пастернак не Мисима, смешно сравнивать. Не представляю его, калькулирующего уход в заботе о посмертной славе, – как бы подвел черту Вадим.

Тема сама собой исчерпалась.

Роберт нетерпеливо поерзал на плетеном стуле и подкинул поленце в костер беседы:

– Недавно у известного критика прочел: чтобы современная русская литература стала желанной на Западе, где ее сейчас не знают, поскольку не переводят, надобно взор обратить на абсурд тамошней жизни. Якобы литература абсурда есть наиболее художественная, ни от чего не зависит и привязана ко всему. Житейская логика вроде бы не обязательна для искусства, – по привычке он в возбуждении закатил глаза.

– Может, недалеко от истины этот критик? Хармс недаром говорил: «Меня интересует только чушь, жизнь только в своем нелепом проявлении», – Вадим в очередной раз выказал начитанность.

– Итак, да здравствует чушь! Нас, долбанных реалистов, на свалку? – Роберт распаялся, беспрестанно вытирая салфеткой ядровидный череп. – У Хармса из окна человек без рук, ног и внутренностей вываливается, – так, кажется? Или у кого-то, не помню имя, говорится о введении «Дня открытых убийств».

– А что, классная идея! – усмехнулся Вадим.

– Роберт, можно похвалиться?

– Валяй, Даня, хвались, но не слишком.

– Обещаю. В последнем моем романе о *таблетках правды* говорится. Дают в ходе эксперимента по прочищению мозгов россиян, от пропаганды одуревших. Чем не абсурд... Та самая чушь, о которой Хармс говорит... По моему разумению, абсурд легко облачается в реальность

и люди даже не замечают... Давайте в литературную игру сыграем: навскидку несколько заманчивых абсурдистских сюжетов. Вадим, начинайте...

– Хм... Дайте подумать... А можно географию расширить? Не столько к российской жизни, сколько к нашей, американской, подходит. Абсурд как чистый маразм. Ну, скажем, такой сюжет: мужчинам запрещено к женщинам прикасаться. Если поймают на совокуплении, – тюрьма. Дети из пробирок рождаются. Резиновые куклы с влагалищами миллионами штук выпускаются. У баб – резиновые мужики и предметы самоудовлетворения.

– Здрóрово! Только на близкую тему уже сочинен роман, по нему сериал поставлен – «Рассказ служанки».

– Теперь моя очередь, – включился в игру Роберт. – Сталин попадает в сегодняшнюю Россию. Или, скажем, нынешний властитель одной шестой части суши едет с маркизом де Кюстином по городам и весям, и что только перед ними не открывается...

– Мой сюжет: оживают герои литературных произведений, начиная с «Илиады» и «Одиссеи» и кончая акунинским Фандориным, и кем-то там еще, и поселяются в одном большом городе. Кроме них в городе никто не живет. И начинаются невероятные приключения, превращения, забавные и кошмарные истории.

– Даня, а в твоём сюжете Гамлет может жениться на капитанской дочке или Анна Каренина выйти замуж за Дон Кихота?

– Все возможно. Это же абсурд...

Пообсуждали, посмеялись, сошлись на том, что классные сюжеты абсурда придумать не так легко. Женщины позвали в дом – пришло время обеда.

5

За свою долгую жизнь я дважды оказывался на больничной койке, не считая теперешнего пребывания, по его поводу покуда не соткалось мнение, чем оно обернется, я гоню, как ветер злые тучи, мрачные предзнаменования, они, однако, полностью не развеиваются, и иногда отзвук их помимо моей воли полощет ушные раковины, *что из переделки едва ли я выйду живой.*

В первый раз, еще в Москве, лег для исправления носовой перегородки; операция шла под местным наркозом, я лежал с закрытыми глазами, а когда приоткрывал их, видел миниатюрные долото и молоточек, которыми орудовала профессор Загорянская, лучший специалист по этой части, долбя хрящи в моей искривленной носовой полости. Зрелище ужасное, процедура довольно болезненная, и я снова смежал веки... 12-местная палата с единственным туалетом в коридоре воспринималась как должное, иных условий больница предоставить не могла, да никто и не требовал, зато народ подобрался замечательный, темы для разговоров рождались сами собой, один малый, работяга с ЗИЛа, травил анекдоты про Брежнева, уморительно копируя генсека. В общем, было не скучно.

Спустя четверть века я узнал, что такое американский госпиталь, когда в бруклинском Маймонидесе русский хирург Вайншток вел внутри меня своего рода ирригационные работы, обходил забитые бляшками, заилившиеся сердечные артерии и ставил обводные каналы для беспрепятственного тока крови. Внутренности мои охладили, как полярника на льдине, до нужных градусов, жизненные процессы замерли и ни на что не реагировали, сердце выключили, грудь разрезали пилой, и я улетел в космос на семь часов. Полет прошел успешно, я был, как Гагарин, в виде подопытного кролика, только он все чувствовал, а я – ничего; вернувшись из немыслимых галактических далей, с трудом уловил позывной сигнал хирурга: «Если меня слышите, сожмите ваши пальцы, которые я держу...» Слышу, пытаюсь сжать, хоть чуть-чуть, ничего не получается, кисть ватная, не слушается. «Приоткройте глаза и моргните, если вы меня слышите и понимаете...» Слегка разлепляю свинцовые веки и моргаю, возвращаюсь из космоса на грешную землю, сквозь наркозный дурман прорывается: «Голова в порядке...»

Я подробно описал пережитое в изданном в России романе о русском иммигранте-счастливчике, выиграл он многомиллионный джек-пот в лотерею и перенес по воле автора в Америке такую же операцию; к моему немалому удивлению, московский медицинский журнал перепечатал три странички, выдав за документальный очерк. Правда, один момент романного описания журналом был опущен, так как не имел прямого и даже косвенного отношения к медицине, а скорее, выдавал натуру автора: перед операцией меня навестили четыре мои приятельницы, все в разное время имели со мной близкие отношения, расставшись, мы продолжали общаться, в их появлении не было ничего неожиданного, за исключением того, что друг друга не знали и впервые познакомились в моей палате. Меня же одолело смешливое настроение, я дурачился, рассказывал веселые байки, им казалось – таким способом изгоняю вполне понятный и оправданный страх, а мне и в самом деле почему-то стало смешно, хотя, безусловно, присутствовал и страх, которому не давал воли, и зрела уверенность, что все обойдется, я вернусь из космоса и совершу мягкую посадку; короче, в момент, когда мне предстояло на каталке отправиться в операционную, я выдал, возможно, лучшую и одновременно самую сомнительную шутку в жизни: «Девочки, вы такие красивые, милые, нежные – у меня ощущение, что я уже в раю». На хохот в палату сбежались врачи и медсестры – здесь отродясь не веселились...

Все это происходило почти двадцать дарованных мне лет назад, мои байпасы худо-бедно работают, но теперь мне не до смеха: где те *красивые, милые, нежные*, похоже, придется обреченно ложиться под нож хирурга, который ничего не может гарантировать. Допрежь приговора нельзя выводы делать, иначе беду накликаешь – мрачные мысли способны материализоваться.

В палату вползает кисловатый рассвет. Меня никто не тормозит, медсестрины процедуры начнутся часа через полтора. Устраиваюсь на койке поудобнее, чтобы не мешал надутый, как камера футбольного мяча, живот. Жидкость в животе – хреновый признак, даже боюсь думать. Болей, правда, нет. Жидкость сегодня снова откачают, так обещали. Ну, и что дальше? Диагноза пока нет, не знают эскулапы, что в моем брюхе колобродит. Когда поймут, тогда и...

Веки прикрыты, и помимо воли возникают видения, лики, обрывки бог знает сколько лет назад виденного, происходившего, тихо плывут ко мне из бездонной глубины, колеблются, заволакиваются бисерной рябью, наконец, достигают поверхности, устанавливаются – и вмиг исчезают, будто кто-то камешек бросил в воду и пошли круги, на смену им рождаются давно забытые, казалось, навсегда канувшие отражения, оказавшиеся живыми, легко возрожденными, будто происходили вчера.

В одном из романов, изданных в Москве в последние годы (кроме всего прочего, памятен он тем, что издатели, решив не заморачиваться пересылкой гонорара в Нью-Йорк (по правде говоря, и денег-то у них не было...) расплатились со мной частью тиража, книги, совершив перелет за океан, оказались в Америке вполне ходовым товаром), так вот, я писал о том, что *«силуюсь и не могу различить, что же было в моей младенческой и детской памяти собственным, незаемным, а что явилось плодом фантазии или было навеяно чьими-то рассказами»*. Фразу эту помню наизусть, как стихи, ничего в ней особенного нет, однако открывает она потаенную дверь в мир не изжитых по сей день эмоций. Книгу я безотчетно, с какой-то неясной мне самому целью прихватил с собой в госпиталь, изредка перечитываю хорошо знакомое, словно прикасаюсь к некоему талисману, охранной грамоте в твердом переплете с силуэтом Манхэттена на обложке и Чистопрудного бульвара на заднике – быть может, выручит и даже спасет.

Что же там дальше, после сомнения в незаемности моей младенческой и детской памяти?

Я смотрю памятью в прожитую даль и задираю голову, чтобы увидеть гору – мое детство, и думаю над тем, что жизнь каждого человека, и моя собственная, напоминает спуск с горы: так сбегает веселые звонкие потоки, мчатся по склонам незамутненные, независимые, гордые, постепенно слабеет их напор, сливаются они в спокойные речки, потом становятся реками, влекутся медлительно и важно, меняется их цвет – из ясно-голубого в землисто-коричневый, и, наконец, из полноводных превращаются они в неслышные, еле дышащие ручейки с морщинистой рябью на поверхности, мельчают, иссыхают, и наступает момент, когда от былых веселых и звонких потоков остается еле заметный след на песке.

Неудержимо хочется вновь очутиться на вершине горы, испытать упоение высотой, одновременно сохранив накопленный опыт – счастье и восторг, ошибки и разочарования, однако чудес не бывает, и я влекусь медлительным потоком по скудеющей равнине, и берега мои сужаются и сужаются...

А покамест я возвращаюсь в благословенное время начала начал, которое помнится лучше всего, и чем дальше, тем помнится лучше. Я вижу (хотя видеть никак не мог по причине младенчества) траншею для укрытия жильцов на случай бомбежки, которую отец отрыл за сараями, уходя в ополчение, немецкую «раму», гонявшуюся на нашей улице за матерью и живым, прижимаемым ею к сердцу комочком, то есть мной, неожиданный приезд с фронта в наш подмосковный город 16 октября, в день всеобщей паники, дяди Шуры, офицера штаба фронта, запретившего матери уходить с беженцами, отца в госпитале в Лефортово, неловко держащего меня-грудничка правой рукой (левая, изрешеченная осколками, лежала на перевязи)...И никто не убедит меня в том, что все это, реально происходившее, я никак не мог видеть и запомнить и мне примстилось.

Но вот что действительно, неоспоримо помнится, так это валик дивана в большой комнате, на который я вскакиваю, услышав из черной тарелки репродуктора густой торжественный дикторский баритон, в кулаке у меня зажат красный карандаш, с помощью матери ищу

на прикнопленной к стене карте очередной освобожденный город, очерчиваю его кружком и издаю победный вопль: «Гитрил, капут!»

В конце сентября 1944-го вернулись из эвакуации в Алма-Ату старшая сестра отца Маруся с дочерью Соней и привезли яблоки апорт – огромные, с плотной красной, с желтыми вкрапинами, кожицей и нежной мякотью. Таких яблок в Подмосковье не было. Тетя Маруся устроилась в школу близ озера преподавателем математики, Соня продолжила прерванную войной учебу в университете на филфаке.

Еще помню, как мать и Рая, жена любвеобильного дяди Шуры, сопровождавшая его на фронте, остерегая – не всегда успешно – от походно-полевых романов, и приехавшая в конце войны повидаться, курили «козьи ножки» – махорочные самокрутки, я канючил: «дай, дай!», от меня отмахивались, я приставал, Рая неожиданно сунула мне самокрутку, я вдохнул дым и зашелся кашлем. Отпаивали меня холодным чаем, мать костерила невестку на чем свет стоит.

Рая привезла мне в подарок трофейный цейссовский бинокль – такого ни у кого на улице не было, и я безмерно гордился и дорожил дядиным подарком. Также она привезла детские сапожки и отрез синей «диагонали» – сукна с идущими вкось рубчиками. Отец договорился с обшивавшим весь город стариком-портным, и тот снял с меня мерку. Обмеряя меня, он напевал, притоптывал, из носа у него торчала сопля. В городе его называли Изей-чокнутым. После примерки, когда мы возвращались домой, отец вдруг сказал, что у старика в войну погибла семья. Костюмчик вышел на славу – старик знал свое дело. Деньги он наотрез отказался взять, мотивируя тем, что никогда не шил на таких мальцов и потому не может назначить цену работы. Рано утром в выходной день, едва продрал глаза, я с помощью отца надел галифе и китель на манер офицерских, обулся во всамделишные сапожки и с ним за руку, бесконечно гордый, прошелся по двору и улице до пустыря, переживая, что мало кто меня видит.

Познание мира не всегда проходило безболезненно. Однажды, заинтересовавшись таинственными дырочками в розетке, сунул туда мизинец. Удар током был такой, что я отлетел на полметра и почему-то не заревел.

Из картинок того времени свежо, будто было вчера: отец качает меня на руках, нежно напевая – «Ая, ая, Данечка, ая, ая, маленький...» От рождения правое ухо мое имело дефект – при мытье головы вода попадала внутрь и вызывала воспаление. Пока родители не rozpoznали причину моих заболеваний после каждого мытья, я страдал, мне капали в ухо камфарное масло, делали водочные тепловые компрессы, а отец качал и напевал, чтобы унять стреляющую боль.

Еще помню, как сводил меня с ума отцовский храп. Спал я в большой комнате, на том самом диване с валиком. Кровать отца стояла напротив, в двух метрах. В середине ночи я просыпался от отцовских рулад, следовавших по нарастающей. В верхней, предельной точке звук прерывался, рулады стихали, потом все начиналось сызнова. Я придумал способ борьбы: едва звуки достигали апогея, я начинал кашлять или издавать легкий свист. Отец всхрапывал, будто натыкался на невидимую преграду, рулады прекращались на несколько минут, я засыпал, чтобы быть разбуженным тем же самым.

Если б знал я тогда, что унаследую отцовскую привычку – верный признак неблагополучия, как объяснили доктора, с артериальным давлением.

А еще вижу памятью, казалось, давно ненужное, исчезнувшее, растворенное в пестроте прожитых лет: четверо мужчин в белых полотняных парах возвращаются из бани, несут под мышкой эмалированные тазики, шайки, как их называли тогда, и березовые веники, среди мужчин – мой отец, статный, красивый, розовощекий, лысина его сверкает на солнце, сегодня мы поедем на станцию Отдых кататься на детской железной дороге – отец обещал, меня переполняет любовь к нему, я качусь на трехколесном велосипеде ему навстречу, он хохочет, манит меня, я ни с того ни с сего разворачиваюсь и начинаю удирать, ноги в сандалиях быстро жмут на педали, отец что-то кричит, я не слышу и продолжаю удирать, он зачем-то бросается за мной,

снова кричит, я с еще большим азартом мчусь от него. Бессмысленная гонка продолжается на потеху наблюдающим ее. Отец, почему-то рассвирепевший, ловит меня у колонки, откуда вся улица носит воду, ведет домой, словно чем-то провинившегося, и дома в первый (и последний) раз устраивает лупцовку. Водит по кругу, держа за левую руку, и нахлестывает ремнем. Я реву не от боли, а от жгучей обиды: за что? почему? – ведь я так люблю отца...

Поездка на станцию Отдых была отменена в знак наказания. Оказывается, отец кричал, приказывая мне вернуться, а я ослушался. Он был нервным и вспыльчивым, мой отец, как многие стойкие гипертоники, и эти его качества передались мне...

Я хранил в себе эту историю все годы, пока отец был жив, и постарался выбросить из памяти, когда его не стало, сделав исключение для романного описания.

Раз за разом возникало непреодолимое желание видеть мир сверху – не плоским и одномерным, а объемным и многогранным. С этой целью я пробирался полутемной, тускло освещенной единственной лампочкой лестнице, старался незаметно для соседей прошмыгнуть на пахнущий плесенью чердак, открывал окно с грязным, никогда не мытым, в паутине и дохлых мухах стеклом и вылезал на крышу нашего дома. Обычно осуществлял эту операцию во второй половине дня, вернувшись из школы, еще до сумерек, стараясь поймать предзакатное весеннее или осеннее солнце (летом и зимой я почему-то не испытывал такого любопытства). Жившие на втором этаже Ильины, печник Степан Степанович и третья соседка – Лиза Большая в это время были на работе, так что у меня был шанс забраться на крышу незамеченным.

Ильины, их за глаза соседи называли непонятным мне словом – *куркули*, те вообще меня не замечали, а если замечали, то смотрели подозрительно; я для них выглядел огольцом-шпингалетом, от которого можно ожидать неприятностей: что-нибудь разобьет или стырит. Необщительные, сумрачные, они еще более замкнулись после гибели взрослого сына, ни с кем в доме не общались. Степан Степанович, живший одиноко, без жены, привечал меня, иногда зывал к себе и угощал чаем с баранками. Я любил бывать у Лизы Большой. Почему ее так называли, было невдомек, никакой Лизы Маленькой вообще не существовало, ростом она тоже не выделялась. Однако называли ее Большой, и никто не удосуживался узнать почему. Она работала секретарем-машинисткой в горкоме партии. Я замечал, что она, молодая женщина, не очень красивая, но и не уродина в моем детском представлении, равнодушно воспринимала мужские знаки внимания, туманно-рассеянный взгляд ее скользил по лицам и ни на ком не останавливался.

Я забирался на второй этаж, проскальзывал вечно пахнущим керосином коридором и входил в просторную светлую комнату почти без мебели и оттого казавшуюся еще более просторной и светлой. Из окон открывалась в синеве манящая дальняя перспектива. Дружившая с Лизой Большой моя мать рассказывала, что у нее горе. На стене висел большой портрет юноши в военной форме, как я уразумел – Лизиного жениха. Я догадывался, что он погиб. В этом, очевидно, и заключалось ее горе.

Взрослая жизнь скрывалась за семью печатями, многое до меня не доходило, как, например, случайно подслушанное в разговоре матери и отца: Лизу Большую пытался изнасиловать какой-то солдат. Из подслушанного вытекало следующее: Лиза Большая гуляла одна вечером в парке за озером, на нее набросился солдат и поволок в кусты, она бешено сопротивлялась, укусила солдата за руку, расцарапала ему лицо, он отпустил ее и удрал. Она не заявила в милицию, хотя найти насильника не составляло труда – воинская строительная часть квартировала на окраине города. Не хотела связываться, объяснила мать. Больше всего, по ее словам, Лизу Большую обескуражило то, что напал на нее солдат. Очевидно, все военные сливались для нее в светлый образ погибшего жениха, она не допускала наличия негодяев...

Лиза Большая кормила меня плиточками жженого сахара – предметом моего вожделения. Тогда все в округе баловались им. Обыкновенный колотый сахар размачивали в теплой воде или в молоке до образования жижи, заливали жижей горячую сковороду или противень,

содержимое схватывалось, стгорая, и образовывались каменно-твердые, желтоватого отлива плитки. Жженый сахар оказывался вдвойне выгодным. За неимением шоколадных конфет он по справедливости считался лакомством (у меня и теперь на языке его невыразимо приятный вкус). Кроме того, распиленные мелкие кусочки не кидали в чай, а долго сосали, как леденцы, и расходовался тот же килограмм сахара, ставший жженым, значительно медленнее.

Мать тоже готовила его, но редко.

... Растворив чердачное окно, я осторожно вылезал наружу, устраивался на подоконнике, свешивал ноги на крышу и отдавался восторгу лицезрения окрестностей. Предзакатное солнце наполняло окоём неярким светом, бабье лето (а стояла именно такая пора) рождало тишину и умиротворение. Голубеющие дымчатые дали навевали светлую тоску, внутри что-то млело. Одиночество не томило, напротив, выглядело желанным и естественным моим состоянием, его не требовалось ни от кого таить. Почему-то к горлу подступали слезы. Я подносил к глазам предусмотрительно захваченный бинокль, настраивал на резкость – открывались приземистые, скукоженные, домишки, скаты крыш в черепице, толе, рубероиде и дранке, печные трубы, сады, огороды, поля, поедающие травку коровы и козы, лес, излука реки. Я жадно поглощал это зрелище, пока не уставали прилипшие к окулярам глаза.

Что повелевало мной, руководило и направляло? Я не отдавал себе отчета – внутри срабатывала пружина, выталкивавшая одно-единственное желание вырваться из окружающего мира, постылого и скучного. Уже в ту самую раннюю пору взросления я задумывался над тем, что уготовит жизнь, и не видел себя никем – ни работягой или инженером на местном засекреченном приборостроительном заводе (его в просторечии называли «панель», замечательно звучало в устах женщин, отвечавших на вопрос, где работают: «На панели...»), ни военным, ни строителем, ни геологом, ни кем-то еще. В уме я сочинял всякие истории, потом заносил на бумагу и никому не показывал, пряча в потайном месте в дровяном сарае. В этом ли мое предназначение? Даже робко думать об этом я боялся.

И вот наступала заманчивая минута, когда я нажатием потаенной кнопки включал спрятанный в рюкзаке за спиной моторчик и взмывал над домом, из вертикального положения переходил в горизонтальное, распластав руки-крылья, точно Икар на картинках в книжках; я наслаждался полетом, скоростью, возможностью управлять телом, зависать и маневрировать, вздымающим волоса ветром и легким посвистом в ушах; я спустился ниже и летел, едва не задевая печные трубы, подо мной проплывали деревянные и кирпичные строения, обрамленные заборами из штакетника, улицы и переулки, деревья и кусты, играющая в мяч ребятня, снующие меж огородных грядок женицины с подоткнутыми подолами, парни и мужики, оседлавшие мотоциклы и велосипеды, проезжали, пыля, грузовики и редкие легковушки; на большой высоте прорезал облака реактивный истребитель, оставляя за собой удаляющийся в перепонки раскатистый гром, как при страшной грозе, и инверсионный след-автограф в виде струи легкого белого дыма; люди задирали головы, махали мне, что-то кричали, а я горделиво проносился над головами, удаляясь все дальше от пыльного чердачного окна, куда вскоре предстояло вернуться...

В ту пору я слыхом не слыхивал ни о каком мальчишке, жившем на крыше возле печной трубы. История эта вообще еще не была написана. Прочитав ее спустя лет десять, а то и больше, и уже совсем взрослым увидев мультфильм, я поразился открытию – я летал гораздо раньше Карлсона, приспособив для этого рожденный фантазиями реактивный ранец. Сколько мне тогда было – совсем ничего, и лишь почти семь десятилетий спустя придумали такие реактивные ранцы, начали летать, преодолевать Ла-Манш, изредка гибнуть. Воображение опережает прогресс...

Фантасмагорический, иллюзорный, обманчивый, причудливый, феерический мир поселился во мне с тех самых бдений и живет до сего времени. Иллюзия, глюки, одурь, бред, фантом, чертовщина, призрак, оцепенение, галлюцинация... Назовите, как хотите, но я действи-

тельно летал над городом, и никто не переубедит меня в обратном. Сон во сне, как сказал один писатель. А великий ученый развил мысль: разница между прошлым, настоящим и будущим – всего лишь упрямая и стойкая иллюзия.

Прожитые годы не избавили от нее, я продолжаю отдавать дань воображению, невесть откуда берущимся вольным фантазиям, не подменяю ими мир реальный, отнюдь, но примериваю на себя то и другое в самых разных сочетаниях, вынимаю необходимое, словно фокусник из рукава, в зависимости от потребностей души. Так мне, сочинителю, легче существовать, отстаивать свое одиночество, не страшась при этом впасть в мизантропию.

6

На госпитальной койке, в рассветный кисло-сумрачный час, видения и лики заполняют мое личное пространство, словно выползает из кинопроектора, по-змеиному шурша, пленка в царапинах, зазубринах, шрамиках времени. Было все это со мной на самом деле, или я нафантазировал, следуя главному правилу сочинителя – отпустить вожжи и погнать вскачь воображение? Сдается, все так и происходило, а если нет, какая, в сущности, разница: и то, и другое – правда. Главное в том, что в преддверии врачебного вердикта кадры кинохроники выглядят психотерапией: я снова юный, здоровый, веселый, впереди у меня целая жизнь, я переполнен ощущением счастья.

Вот я, стоя посередине очерченного круга, высоко подбрасываю резиновый мячик, пацаны и девчонки разбегаются из круга с оглядкой – водящий, то есть я, выкрикиваю чье-то имя, он или она должны успеть вернуться в круг, поймать мячик и выкрикнуть магическое: «Штандр!» Что означает это слово, откуда пришло, никто не знает. Новый водящий выбирает себе жертву, салит ее мячиком, все опять бегут, и так без конца, покуда есть силы...

А вот я кладу на землю небольшой кусочек дерева с остро, как карандаш, заточенными концами, это «чижик», ударяю по носу широкой битой, чижик подпрыгивает, и в этот момент гибким замахом биты попадаю по нему и отправляю как можно дальше. В моем воображении я всегда удачлив, выигрываю у соседских пацанов, на самом же деле слышу далеко не лучшим, но какое кому дело – ведь это мои и только мои воспоминания...

Едва подсыхает весенняя трава и с огородов начинает тянуть сладкой прелью сжигаемых листьев, начинаются «ножички» – отголосок, отзвук войны. Чертится большой круг, делится на две, три, четыре, пять частей, в зависимости от числа играющих, каждый занимает свою территорию, начинающий первым вонзает перочинный ножик с открытым лезвием в примыкающую чужую территорию, отрезает кусок и присоединяет к своей земле. Отрезать по правилам можно дотуда, докуда дотягивается со своей территории, притом не опираясь на чужую никакой частью тела. Приходится мудрить, хитрить, завоевывать жизненное пространство постепенно, по сегментам... Чем не военная тактика... Но стоит ножичку упасть плашмя, в игру вступает следующий участник. Еще одно правило: земля принадлежит тебе до тех пор, пока ты можешь устоять на ней, неважно, каким образом – всей ногой, или на мысочках... Стоит кому-то захватить бóльшую часть круга, как кто-то непременно прореагирует: «У, фашист проклятый!» Не ругательство, скорее нарицательное обозначение несправедливой миссии захватчика.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.